

Станислав Ливинский



А где здесь наши?

Станислав Ливинский

А где здесь наши?

Москва

«Воймега»

2013

УДК 821.161.1-1 Ливинский
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
Л55

Дизайн серии: Сергей Труханов

С. Ливинский
Л55 А где здесь наши? — М.: Воймега, 2013. — 48 с.

ISBN 978-5-7640-0142-5

Книга выпущена при поддержке Алексея Коровина

© С. Ливинский, текст, 2013
© С. Труханов, оформление, 2013
© «Воймега», 2013

* * *

А если начинали, то с конца,
что бога нет, что вот вам, дети, идол.
Ещё для краснопёрого словца —
Гагарин, мол, летал — его не видел.

Игрушки деревянные сложив,
на три носка натягиваешь кеды.
Пьют у подъезда, ходят в гаражи.
Русь, мать её, сказали б краеведы.

Чьи это земли? Знаемо — ничьи.
Ребята возвращаются с шабашки.
Портреты. Флаги. Даже воробьи
чирикают как будто по бумажке.
002А

Иное что-то в смысле естества.
И ты, не призывая к падшим милость,
выкладываешь буковки, слова.
Отходишь посмотреть, как получилось.

* * *

В пересуды листвы, в желтизну ноября
с осторожностью первого снега
ты уйдёшь. Оглянись и запомни меня —
молодого ещё человека.

Оглянись и запомни. Остаься такой,
как была ты когда-то при встрече
в переулке ташлянском с его нищетой
и горбинкой почти человеческой.

Будем долго молчать, догорать на костре,
а потом бесконечно дымиться,
где кричат «убивают!» в соседнем дворе
подгулявшие с виду девицы.

Мы ещё поживём. Я тебя обнимал
и засовывал руки под хлястик.
Но последний троллейбус уже грохотал
и позвякивал мелочью в кассе.

Он тебя забирал, он тебя увозил,
под колёса кидалась собака.
Напишу в этом месте, что я закурил,
хоть на самом-то деле — заплакал.

Переезд

Казалось бы — только обжился, привык,
нагрел, полюбил это место,
а нужно съезжать, нанимать забулдыг,
вытаскивать стулья и кресла.

Компьютер, ковёр, шкаф-купе и диван.
Коробку с электрокамином.
Бумаги сгрести, затолкать в чемодан.
Снять полки со стен и картины.

И пепел сбивать на затоптанный пол,
в сердцах объясняя рабочим,
что самое главное — бабушкин стол,
что — ножка замотана скотчем.

* * *

Как ни пыхти, ни старайся, лучше не скажешь об этом.
Сельская станция в поле. Снег что-то шепчет в окно.
Пусто и холодно в клубе. Сцена с местным поэтом.
После — кино.

На обожжённой земле мёрзлая ткань терракоты.
Глиняный пел соловей, пел на чужом языке.
Сесть в ископаемый трактор и — в магазин «Соки-воды».
Счастье — в какой руке?

Значит, дружок, и тебя взяли на барахолке.
Снегом закусывать спирт, ставши со мною в кружок.
Два неразлучника, ствол, скатерть из «Комсомолки».
И — хорошо.

* * *

Нас из одной лепили глины,
но обжигали в разных горнах.
Судьба темна, как погреб винный,
сырой, просторный.

И мы с тобой: нам по семнадцать,
а может быть, давно за тридцать.
И память — ветренная цаца —
та, что на лица.

И мы с тобой. Приходит осень.
И облетают листья с клёнов.
И седина виски заносит.
Гадай на зёрнах.

Гадай на зёрнышках созвездий.
Мети палас. Вари мне каши.
Я так люблю, когда мы вместе
во всём домашнем.

Я так люблю, когда в халате
рукою машешь мне в окошко;
когда ты надеваешь платье
и трётся кошка;

когда в хоккее играют лихо
по телику и, оторвавши
взгляд от шитья, ты спросишь тихо —
а где здесь наши?

Снежинка

I

Как будто это было не со мной
(и было ль вообще на самом деле),
но армия мне снится до сих пор.
Забор кирпичный, царские казармы,
под крышей надпись — тыща девятьсот
шестой. А на дворе двадцатый век
последние донашивал шинели.
Огромный плац и сотни человек.
И первый снег идёт, как новобранец,
не в ногу, но ему никто не крикнет —
а ну-ка там, салага, шире шаг!

Мы на плацу стоим и замерзаем —
солдатики, *они же ещё дети*.
Передо мной дрожит какой-то мальчик:
смешной затылок, девичья фигура.
Я вижу эти маленькие плечи.
Я помню, как ему одна снежинка
упала прямо в дуло автомата.
Зачем-то я запомнил этот день.

II

Я помню старшину. Сто раз на дню
он вспоминал фамилию мою,
орал, как сука, вечно надрывался,
что для меня давным-давно она —
пустое слово, бывшая жена.
Я б на неё теперь не отозвался.

Простой сюжет. А дальше — настезь дверь,
на стол положат, кто-нибудь да всхлипнет.
Смеяться будешь — прапорщица-смерть
нас так же по фамилии окрикет.

III

Я помню — старшина по воскресеньям
водил нас в баню, как на водопой.
Вот зрелище. Я про него сказал бы,
что это тот ещё соцреализм.
И мне казалось — в общей наготе
беспомощность была и обречённость.
Наверное, в чистилище теперь
такой же пар, такие же отсеки,
такой же невозможный синий кафель.

Я помню — доставали из петли
мы в этой бане год спустя мальчишку,
солдатика с той самою снежинкой.
Как он лежал на каменном полу
и принимал мужские очертанья,
и кто-то слишком мрачно пошутил,
что парень неудачно дембельнулся.

Его я помню очень хорошо,
хотя его лица совсем не помню.
Смешной затылок, девичья фигура.
Совсем ещё ребёнок, бедный мальчик,
а за спиною чёрный автомат
и маленькая белая снежинка.

* * *

И женщина, которую девчонкой
ты дёргал за косички в первом классе,
тебя не узнаёт. И плач ребёнка
ещё бессмыслен, но уже прекрасен.

Перемотай на самое начало.
Запоминай обратно эти лица,
где сердце неразборчиво стучало
и в книге жизни склеены страницы.

Она пройдёт, как будто не заметит.
Не дёргайся! Ну что бы ты сказал ей?
Что помнишь. Что у вас могли быть дети
красивые с зелёными глазами.

* * *

Эта жизнь не твоя. Потяни за последнюю строчку,
распуская сюжет, нажимая на клавишу «сброс».
А писал словно бог, вымеряя всегда точка в точку.
И стояли слова — пятки вместе, носочки поврозь.

На замызганной кухне давно обретаются черти.
Похудел и осунулся, куришь одну за одной.
Погоди умирать! Что ты знаешь, дружочек, о смерти?!
Вот побегай ещё, подпиши у неё обходной.

Погоди умирать! Видишь, сколько напало снега.
Как скрипит под ногами, заходится всем существом.
И сугробы такие, что хочется прыгнуть с разбега
и кричать — с Рождеством!

* * *

Судьба, судьбе, судьбы — и лепишь кружева,
и виснешь, как дурак, на микрофонной стойке.
Не вспоминай при мне погибшие слова,
не трогай у судьбы крутилки и настройки.

Огромная страна уснула на спине:
лежит с открытым ртом. В камине треск паркетин.
Да что ж так полысел и дырочку в ремне
проделал новую себе к сорокалетью.

Про лебеду загни, про сор и лопухи
и приплети ещё какой-нибудь прополис.
Я помню, что читал (не помню чьи) стихи,
я тараторил их, как проходящий поезд.

Но срезался, сошёл. Ищи-свищи финал.
Сам типа разлюбил, зато ушёл красиво.
Я на одной струне «Кузнечика» играл.
Из банок с кем-то пил разбавленное пиво.

Я делал узелок на кончике строки
и смешивал вино с лосьоном огуречным.
Прощайте, холода, ментовские ларьки.
Буди меня, буди, кондуктор, на конечной.

* * *

Дед Мороз с бородой на резинке.
Школьный утренник. Старый спортзал.
Ты, конечно, в костюме снежинки.
Я в чём бог... и пиджак слишком мал.
И звучит что-то вроде лезгинки.

Но, остыв, покрывается пенкой
наша память. Я вспомнил сейчас,
как фотограф на той переменке
наводил долго резкость на нас.
Фон щербатой на вид шведской стенки.
Подпись справа — 4 «А» класс.

Это фото. Улыбки. Фигуры.
И оборван слегка уголок.
Это время писало с натуры.
Кто ещё написать это мог?!
Желтизна, волоски, кракелюры.
Я его заучил назубок.

Заучил. Постарел. Позолота
облупилась — никак на беду.
И в окне, ставши в пол-оборота,
я увижу вдруг нашу звезду.
И она, словно ты на том фото,
третья слева в последнем ряду.

* * *

Я думал так — закончится парад,
всё разберут, уляжется охрана.
Сдашь богу ключ, оставишь дубликат,
разрядишь в небо фотоаппарат,
придёшь домой, поешь, запрёшься в ванной.

А выйдешь и зажмуришься на свет,
как будто всё другое — люди, краски.
А ты всё тот же — кеды, фурапет.
И бережно под низ берёшь пакет —
ну, тот, что с Пугачёвой и Боярским.

Нетрезвый. Нет! Не в фокусе. Стоишь.
Затормозить мгновенье норовишь.
А сунешься — и будет столько крови.
Ну что, скажи, в натуре, ты творишь?!
Оно само любого остановит.

Ну что с тобой такая за беда?!
Вон, у других давно большие дети.
Ты всё химичишь, лезешь не туда,
хватаясь за воздух, провода,
а на носу уже сорокалетье.

Давай по сто и всё — для куражу.
Припишем неудачи монтажу,
не тем друзьям, родным, нечистой силе;
чему угодно — плёнке, фиксажу
и крышечке: мы снять её забыли.

* * *

Последний вагон уходящей строки —
запрыгнешь и едешь в курящей теплушке.
Достанешь платочек, дыхнёшь на очки
с резиночкой вместо сломавшейся дужки.

Я знаю, что кончится эта глава.
Игрушечный город, а в нём — миллионы.
Но снова идут друг за другом слова,
как в сорок втором на восток эшелоны.

И будто бы мама с девичьей косой,
а с нею отец, молодой и колючий,
пьёт чай у окошка в трусах и босой
из кружки любимой с отбитою ручкой.

А вот она в чёрном чуть позже, вдова,
строчит в полумраке на швейной машинке.
О боже ты мой, но и эти слова
со временем выцветут, как фотоснимки.

В промасленной стёганке, из недотык,
уедешь туда без прощаний и трапез.
И только стучать ты-ды-дых, ты-ды-дых,
на склонах особенно, будет анапест.

* * *

А у тебя всё впереди.
Порвёшь обновку об ограду.
Не стой на копаном, сойди.
Поддай-ка матери лопату.

Опять весна и птичий свист
по мановенью — кривле, крабле.
Дневник — и с двойкой вырван лист.
Плыви, бумажный мой кораблик.

А дальше — кепка набекрень,
тетрадки, школьная морока.
И подбивает тёплый день
сбежать с последнего урока.

Об этом ни каким пером,
ни в распрекрасной самой сказке.
Там русских баб с пустым ведром,
мужей их, что всегда в завязке.

Нехитрый образ бытия:
кастрюли, дети, кухня, сплетни.
С порога крикнешь — это я,
и бросишь плащ на стул в передней.

* * *

Вот и всё. Листопад, журавли, дембеля.
Из горла. Не горит. Не иначе — палёнка.
После третьей качнётся и вздрогнет земля.
Щёлкни, что ли, на память на фоне Кремля.
Оп! Ну, я так и знал, что закончится плёнка.

Отмотаешь её на полжизни назад
или, может, вернёшься в начало страницы.
Всё поймёшь по тому, как отводится взгляд.
В этих случаях здесь как-то вскользь говорят,
что не помню, что память плохая на лица.

Так учили когда-то, где Родина-мать
в сорок первом — вдова, а теперь — разведёнка.
На камчатке за партой на стержень дышать.
Математика — 3. Рисование — 5.
Оставайся, дружище, последним ребёнком

и кури не в затяжку, как тот идиот,
не умея играть, становясь на ворота.
Вот и всё. И на взлётной ковёр-самолёт.
И как будто бы время неспешно течёт,
но срезает углы на крутых поворотах.

* * *

Затемно вернёшься с похорон,
куришь, наливаешь самогон,
засыпаешь прямо там, на стуле.
И сквозь тридевятый слышишь сон,
как под утро дворники проснулись.

Так задумал, видимо, творец —
с чёрно-белым вывертом-сюжетом.
Новоиспечённый вот отец
у роддома — выглядит поэтом.
Там жена, там целых две души!
Он стоит под окнами с букетом
и кричит ей — сына покажи!

Так на землю падают слова,
и слова подхватывает ветер.
Так от нас останутся на свете
пепел да примятая трава.

На земле — примятая трава,
дома — фотокарточка на полке.
Облако, похожее на волка:
это — хвост, а это — голова.

Это показалось, что болит, —
не спеши хвататься за пожитки.
Отпусти, пускай оно летит —
надувное облако на нитке.

* * *

И не вокзал, а автостанция.
Окошко кассы, мелочь в блюдце.
А то б ещё побыл, остался бы.
Сбил пепел, молча затянулся.

Ещё была девица Старцева:
ходила всё, звала на танцы.
Я напишу — цвела акация.
Никто не станет разбираться,

что дело было поздней осенью.
Вагончик типа магазина.
Ну, и меня когда-то бросили.
И я, как мог, тянул резину.

А ей бы — принц на белом тракторе
и всё такое в ритме вальса.
Потом — ты не в моём характере.
Счастливо, в общем, оставаться.

И это всё вот так запомнится
неглубоко, на штык лопаты.
Вот — напишу — была любовница,
ну и, конечно, я, поддатый.

И не вокзал, а автостанция.
У автолавки трётся тело.
Я напишу — цвела акация.
Я напишу. Не в этом дело.

* * *

Что ты хочешь? Ружьё? Самосвал?
Принесли, когда я ещё спал,
мне от Деда Мороза двустволку,
положили тихонько под ёлку.

Этот праздничный запах ванили.
За стеной «С новым счастьем!» кричали.
Молодыми родители были —
внука бабушке оставляли.

Там, где память пропахла костром
и сухая за окнами вишня,
овдовевшая в сорок втором,
замуж так и не вышла.

Ни друзей у неё, ни подруг.
Всё ходил к ней один политрук.
Говорил — детям нужен отец.
Предлагал хоть сейчас под венец,
а потом вешал китель на гвоздь.
Но у них что-то там не срослось.

На единственном фото она
перед самой войной вместе с дедом.
Он писал ей — ну, здравствуй, жена!
А потом не вернулся с победой.
В форме и лейтенантских петлицах
он всю жизнь будет бабушке снится.

Над кроватью тот самый портрет.
Чашка выскользнет на пол из рук.
Только дочка и маленький внук
подрастает — ну копия дед.

Только так и живёт, крепостной,
прикрывает красу сединой,
поясницу вот кутает пледом.
И часами без света сидит,
и с собою сама говорит,
и зовёт внука именем деда.

* * *

От майских — ни соринки, ни следа.
На курьих ножках страшные бараки.
Ни мира, ни тем более труда.
Об этом и помалкивали флаги.

Ещё был двор, колонка и вода
вкуснее, чем на кухне из-под крана.
По поведенью пара, два труда,
продлёнка и зашитые карманы.

А на восьмое марта выпал снег:
всё обнажил, припорошив детали.
И отходил очередной генсек.
Я молча пересчитывал медали.

Смотрел, но всё куда-то не туда.
На кумаче в очко играли черти.
Гори, гори, кремлёвская звезда,
звезда любви... Звезда любви и смерти.

Всё не сбылось, как насвистела мне
давным-давно усатая цыганка.
Пластмассовый солдатик на войне,
убитый из игрушечного танка.

Он падает замедленно в листву,
пересекая траурную ленту.
И я серпом срезаю трын-траву
и молот там кладу, где инструменты.

* * *

Нам бы всё — разобрать, шпионерить,
да с фонариком чтоб в туалет.
Ты не помнишь — а запер я двери,
не оставил уютюг или свет?

Или всё, что ни делалось, — на спор,
чтоб до смерти прикладывать лёд,
а по праздникам — страшные астры,
и надеяться, что повезёт.

Вот и ёжик блуждает в тумане
иль господь поправляет софит.
Это я только думал, что ранен:
паф-паф-паф — оказался убит.

Эти страсти, земные мордасти,
барабанные дробы минут.
И меня разберут на запчасти,
на запчасти меня разберут.

Последняя строка

Холодный чай. Вишнёвое варенье —
оса завязла. Косточки в руке.
Последняя строка стихотворенья
в двух вариантах справа на листке
как будто бы обзавелась тенью
и что-то замышляет в уголке.
Да будет свет! — по щучьему велению —
и всё, что с ним, в моём черновике.

Да будешь ты. Ещё зима и лыжи.
В прихожей гвоздь, на нём твои ключи.
И полночь, дорисованная рыжим
карандашом, нет — пламенем свечи.
Концерт котов на черепичной крыше.
Торчащие из кладки кирпичи.
И что-то там, что неизменно выше,
как будто только-только из печи.

Да будешь ты и лучше — по соседству.
И солнце заходить за гаражи.
Увидишь и зажмуришься, как в детстве:
мать сунет ложку, скажет — оближи.

Увидишь — как в предпраздничной массовке
ребёнком на обкусанных ногтях
до дрожи пересчитывал обновки.
Смотри не забывай, что ты в гостях.

Да будешь ты, в деталях, побрякушках...
Но эта неудачная строка
кудрявится, ломается, как стружка,
и падает на землю с верстака.

И снова дом, холодный чай, варенье;
вишнёвое варенье, чай и дом.
Нехитрое, казалось бы, плетенье —
вязать строку рифмованным узлом.

* * *

Вот фотография — ребята,
по восемнадцать шумных лет.
У них не оказалось блата.
Повестка из военкомата,
военный новенький билет.

В стране без права перемотки
в зелёной выцветшей пилотке
почти при бабушке-царе
я словно муха в янтаре:
найди меня на этой фотке.

Салага с талией осиною.
В казарме холод. Дедовщина.
Из дома писем долго нет.
Ещё игрушечный мужчина,
я в настоящее одет.

И песня главная о старом,
как смерть дыхнула перегаром.
И ты сползаешь вниз по стенке
и пишешь маме на коленке:
Люблю. Целую. Не скучай.
И краснодарский куришь чай.

Отбой. Дежурный свет луны.
Но в армии не снятся сны.

А где-то дембельская осень.
Всё по накатанной пойдёт:
заматереешь через год,
умрёт отец, девчонка бросит.

Да что ты знаешь о судьбе?
Сидишь играешь на губе,
что время до смерти залечит,
что через десять лет с предплечья
сведёшь наколку ДМБ.

Не замирает больше дух.
И гармониста лишь по пьянке
в пивной попросишь — сделай, друг,
для нас «Прощание славянки».

* * *

Будет город, маленький такой.
Огороды, заросли крапивы,
водокачка, свалка за рекой
режет взгляд, но смотрится красиво.

Будет город в дымке голубой,
где поэт, отчисленный с филфака,
перетянет прошлое строкой
и такое вытворит, собака.

Будешь ты, как птица-попугай,
подпевать, на чём-нибудь да тренькать.
Заходи, ботинки не снимай.
Осторожно! Там у нас ступенька.

Так считай же громко до пяти,
чтоб открыть глаза, нахмурить брови,
чтоб себя здесь больше не найти,
чтобы всё опять — до первой крови.

Чтобы всё — и колокол, и свист
по тебе в потёмках у барака,
и у церкви пьяный гармонист
«Ямщика» наяривал и плакал.

* * *

На порожках курить и смотреть на родную спецшколу,
на безумные окна спортзала, заделанный лаз.
Наливать по чуть-чуть, запивать, если что, пепси-колой.
Ну — за нас!

Как тихушница-жизнь шарит в сердце, брюзжит о расплате:
подрисует усы, бородёнку, добавит морщин.
А когда-то на задней-презадней расписанной парте
жил-был мальчик один.

Жил-был мальчик один. Он зимою подкармливал осень.
Он мечтал о щенке, он хотел духовое ружьё.
Не любил молоко и любил, как жужжит «Смена-8»,
и без плёнки снимал на неё.

Остывает мгновенье, потом выцветают чернила
или, может быть, стало на улице раньше темнеть.
Перегнуться, повиснуть вот так же на шатких перилах,
плюнуть вниз и смотреть.

Тысяча мелочей

I

Не любил манной каши и новых вещей.
Сколько шапок посеял, от дома ключей.
Присобачить на память не жалко
типа вывески «Тысяча мелочей».
Ходишь клянчишь всю жизнь у врагов, у друзей
штопор там, зажигалку...

II

Всё — череда сплошных утрат.
Вишнёвый луг и бежин сад.
Шагами меришь клетку.
А время, словно старший брат,
смеётся, ставит детский мат
и не даёт конфетку.

* * *

памяти отца

Напомни тот мотив несносной тишины.
Сухое молоко, потом — сухие слёзы.
Ещё была зима, но что-то от весны
сквозило невзначай в её нескромной позе.

Напомни тот мотив, напой его слегка.
Зима, сосновый гроб, опешивший прохожий.
Когда б, ушанку сняв, ты простоял века...
Ну всё. Надень. Пойдём. Простынешь, не дай боже.

Ещё горелый хлеб, отцовский самогон.
И он на свете том сидит, как именинник.
Я помню — брат забрал его магнитофон,
а я на память взял поломанный мобильник.

* * *

Ещё не март, но в дверь стучат его сваты,
шумят в подъезде, бьют бутылки, не уходят.
Снег во дворе похож на снятые бинты,
и первый день весны замешкался на входе.

Ещё мерцает свет стоянок и аптек.
Ещё сплошная тьма в космическом разломе.
Ещё молчит земля, и первый человек
запоминает мир, как шестизначный номер.

Он курит на ходу, поднявши воротник.
Он смотрит на часы над заводской столовой,
а стрелки, бросив всё, рванули напрямик.
А если снять часы, то там — плохое слово.

* * *

Там в залог оставим паспорта.
Здесь перекантуемся на даче.
На покрывку сядем у пруда.
Плещется зелёная вода.
— Можешь плавать?
— Только по-собачьи.

Не свисти — несчастья не накличь.
Дерево сухое, рядом свая.
Битые бутылки и кирпич.
На холме раздолбанный «москвич»
без колёс — тебя напоминает.

Что ещё? Палатки, молодёжь:
выпивают — чем тебе не смена?
Вытрешь о траву и спрячешь нож.
Снимешь всё с себя — идёшь-идёшь,
а воды всё время по колено.

* * *

Не черновик, а поле Куликово:
огонь, скрещенье строчек, место сечи,
когда смертельно раненное слово
я брал на руки, тряс его за плечи.

Мы победим, отстроим Третий Рим,
кольчугу завтра сменим на косуху.
Я говорил — давай поговорим —
смотрел в глаза, держал его за руку.

А после были сдвинуты столы —
луна и солнце друг напротив друга.
И кто-то доставал из-под полы
вино, передавал его по кругу.

Дымился мир, гудела голова,
столы от изобилия ломились.
И перед казнью пленные слова
молчали и своим богам молились.

* * *

Стихи — история болезни.
А он, простите, не заразный?
Позеленел нательный крестик.
И кто-то в душу так и лезет
отвёрткой крестообразной.

Вот мой лирический герой,
в трусах и шлёпках, без виньетки.
Ему б опять — советский строй,
гитару, «Город золотой»,
глазок замазывать соседке.
И память, как защитный слой,
шкряб-шкряб монеткой.

Плыви, лиловая тоска.
Цветная нить, ужасный почерк.
А время — пяточка-носочек...
Заначка где-то между строчек
черновика.

* * *

Хутор. Брошенная хата.
Дверь, подпёртая лопатой.
Сверху ржавая подкова.
На стене плохое слово.

Опустевшая изба,
словно брошенная баба.
Ей какого мужика бы,
но, как видно, не судьба.

Рядом — спуск, ступеньки сгнили.
Колокольня у реки.
Говорят, что здесь убили
барина большевики.

А теперь тут мотыльки.
Ива дремлет, как сиделка.
Мальчик, севший на мостки,
с удочкою-самоделкой.
Рыбка плещется в садке.
Стрекоза на поплавке.

* * *

Маленький город испугано глянет.
Дочка-весна мерит мамино платье.
Эта хандра так внезапно нагрянет,
как дальний родственник — вечно некстати.

Чуть погостит, а потом — умотает,
крепко обняв по случа́ю разлуки.
Маленький город. И раньше светает.
Господи Боже ты мой близорукий.

Жучка на привязи нехотя лает,
щурится, шельма, на первое солнце.
На ночь свернётся калачиком с краю,
так и подохнет и так же спасётся.

Так и спасётся. Тебе ли на счастье?
Ранняя Пасха в начале апреля.
Нас разделяют на равные части.
Ходики бьют всё быстрее и быстрее.

Но обрываются на полуфразе,
жгут, пропивают огромную фору.
Лечь, говоришь, умереть восвояси.
Господи Боже ты мой беспризорный.

Маленький город, и я был моложе,
делая вид, что чего-то да стою.
Если бы точка... Но точка чуть позже
станет, пустив корешок, запятою.

* * *

Ждать, на досуге рожать — вот она, бабская доля.
Стряпать, на стол подавать, сильно глаза не мозоля.
Мамой свекровь называть, всё о супружеском долге...
Мужа любить. Провожать, думать — и мне уж недолго.

Выпьет, заладит одно — как же ей жить надоело,
как вот такая оса к ним перед смертью влетела,
как он в Сочах ей купил кружку с дельфином вот эту
в семидесятом году. Выпьет и ляжет одетой.
Утром к соседу зайдёт, скажет, что вот, приболела,
что поглядел бы розетку — магарычье дело.

Не прибирай же пока — дай ей собрать узелочек.
В небе пасёт облака первенец, бедный сыночек.
Ангелы там, погранцы в белой парадке, погонах
тихо возьмут под уздцы, молча накроют попоной.
Кто вы? Они ей — свои, бабушка, ангелы смерти.
Мимо тюрьмы понесут, мимо Андреевской церкви.

Поэт

Мальчик думал про светлое завтра
и мечтал, как и все, космонавтом,
чтобы к звёздам своим улететь.
Но окончил вечернюю школу,
пристрастился к вину и глаголу,
и пошло — нагадай-ка здесь смерть.

Он бы токарем мог на заводе,
но рифмует и сопли разводит.
То любовь у него, то хандра.
Он готовит на завтра уроки,
с прописной сочиняет о боге,
варит кашу из топора.

А потом на продавленной койке
еле жив после страшной попойки.
Слышит голос — пора, брат, пора.
То ли жизнь недостаточно была,
то ли муза ему изменила.
Он не помнит, что было вчера.

Он щенка подобрал на помойке.
Тот попрос, привязался настолько,
что три дня никого не пускал.
А потом всех собрали в столовой
помянуть дурака добрым словом.
А собаку он Рифмой назвал.

* * *

Разговорчивый водитель.
Здесь — налево, дальше — прямо.
Календарь с иконкой, вымпел
ставропольского «Динамо».

Всё о бабах и футболе,
и ни слова о погоде.
Мать в больнице, дети в школе,
со второй женой в разводе.

По семейной сохнет лодке.
Всю дорогу матерится.
После смены выпьет водки —
на том свете лишь проспится.

Дети, взяв самоучитель,
возмужают: всё в порядке.
Сняв на память папин вымпел,
продадут его «девятку».

Мир не то чтоб опустеет —
здесь могла бы быть реклама.
Он и там, поди, болеет —
за небесное «Динамо».

* * *

Кто-то режет осколками вены,
кто-то нюхает клей и бензол,
а у нас мужики после смены
собрались и гоняют в футбол.

Нет, не так — выпивают в подсобке
в тесноте на картонной коробке
без закуски — во видеоряд.
Разговоры свои говорят.

За углом грабанули обменник.
В продуктовом всё время обед.
На душе третий день понедельник.
Вот болгарских ещё б сигарет.

Городок. Нет, не так — городишко.
Домик. Марля дрожит на окне.
На столе однотомник сберкнижки.
Автор слюни пускает во сне.

Целый мир расчертили на клетки —
спортплощадка, за ней гаражи.
И кучкуются, как малолетки,
чувства там, в подворотнях души.

Что тут скажешь? — Изнанка сюжета.
Кровяные повсюду тельца.
И вращается третья планета,
а напишешь — седьмая с конца.

* * *

Было время, когда из окна —
нет, не Красная площадь видна,
а дорога и крошечный Эльбрус.
А теперь — с гулькин нос небеса,
медицинских общаг корпуса.
Вот пустили троллейбус.

Дуб спилили, отгрохали склад.
На углу секунд-хенд, банкомат,
мини-маркет и почта под боком.
Но мечтаешь — скорей бы зима:
подновила бы город сама,
чтобы думать о чём-то высоком.

Всё бы так. Но кассир выбьет чек —
масло, хлеб, сигареты и шпроты.
Снег идёт, заполняя пустоты.
Сам себе говоришь — вот и снег,
когда мимо стоянок, аптек
возвращаешься поздно с работы.

А потом, налегая плечом,
открываешь квартиру ключом,
ставишь обувь сушить к батарее.
В том и суть, что ботинок промок,
что слегка заедает замок, —
и как будто бы жить веселее.

* * *

Круглый стол, за креслом — хлам,
переживший всех алоэ.
Словно фрески, тут и там
разрисованы обои.

Было, было, как во сне, —
под подушкой, под строкою.
Как котят, топил в вине
горе горькое с тоскою.

Или так — принёс ежа,
чтоб не видели, в ушанке.
И душа... была душа —
золотая рыбка в банке.

* * *

А в нашей церкви клуб да склад.
Киномеханик в кинобудке
живёт и курит самосад:
из «Правды» лучше самокрутки.
Киномеханик — фронтовик,
сперва — герой, потом — штрафник.
Сидит скрипит себе протезом.
Ему бы лучше хлеботорезом.
Он положил на всё давно
и крутит бабонькам кино.

Погашен свет. На том конце
в окопе ахнула фугаска.
Старлей с гримасой на лице
упал, с него слетела каска.
Вот он у смерти на крыльце
в терновом форменном венце,
и кровь течёт, как будто краска.

А дальше — люди у костра.
Походный госпиталь. По кругу
солдат выносит из ведра
бинты, осколки, чью-то руку.
Стемнело. Фриц не кажет носу.
У лампы вьётся мошкара.
Врачу в палатке медсестра
подкуривает папиросу.

А вот дорога. Грузовик
везёт домой корреспондента.
Над ними кружит штурмовик
и дожидается момента.
Всё ниже, ниже над землёй.
Он разглядел лицо пилота:
вот мать с отцом, вот он с семьёй,
вот смерть, моргнувшая на фото.

И всё... До нового сеанса.
А после в клубе будут танцы,
а под окошком пацаны.
И патефон играть, где сцена.
И женский вальс послевоенный,
как будто не было войны.

* * *

Бог на последнем этаже
печётся о моей душе.
Листая старую подшивку
моих грехов, бранит паршивку.
При свете маленькой лампадки
всё время делает закладки.
Бросает в печь черновики.
Не отвечает на звонки.

И я молчу. Я не жужжу
в тоске по мировой культуре.
И всё под окнами хожу,
как кошка по клавиатуре.

Мой Бог, почти как человек,
вздохнёт и вспомнит прошлый век,
когда выписывали черти
ему свидетельства о смерти.
Потом, когда навеселе я,
стучит крестом по батарее,
чтоб сделал музыку потише.
На сочинителей стишков
всегда глядит поверх очков
и что-то в свой блокнотик пишет.

А я рифмую, лью елей,
всю жизнь торчу на перекуре
с дырявой памятью своей
и тройкой по литературе.

Содержание

«А если начинали, то с конца...»	3
«В пересуды листвы, в желтизну ноября...»	4
Переезд	5
«Как ни пыхти, ни старайся, лучше не скажешь об этом...»	6
«Нас из одной лепили глины...»	7
Снежинка	8
«И женщина, которую девчонкой...»	10
«Эта жизнь не твоя. Потяни за последнюю строчку...»	11
«Судьба, судьбе, судьбы — и лепишь кружева...»	12
«Дед Мороз с бородой на резинке...»	13
«Я думал так — закончится парад...»	14
«Последний вагон уходящей строки...»	15
«А у тебя всё впереди...»	16
«Вот и всё. Листопад, журавли, дембеля...»	17
«Затемно вернёшься с похорон...»	18
«И не вокзал, а автостанция...»	19
«Что ты хочешь? Ружьё? Самосвал?..»	20
«От майских — ни соринки, ни следа...»	22
«Нам бы всё — разобрать, спонерить...»	23
Последняя строка	24
«Вот фотография — ребята...»	26
«Будет город, маленький такой...»	28
«На порожках курить и смотреть на родную спецшколу...»	29
Тысяча мелочей	30
«Напомни тот мотив несносной тишины...»	31
«Ещё не март, но в дверь стучат его сваты...»	32
«Там в залог оставим паспорта...»	33
«Не черновик, а поле Куликово...»	34
«Стихи — история болезни...»	35
«Хутор. Брошенная хата...»	36
«Маленький город испугано глянет...»	37
«Ждать, на досуге рожать — вот она, бабская доля...»	38
Поэт	39
«Разговорчивый водитель...»	40
«Кто-то режет осколками вены...»	41
«Было время, когда из окна...»	42
«Круглый стол, за креслом — хлам...»	43
«А в нашей церкви клуб да склад...»	44
«Бог на последнем этаже...»	46

Станислав Ливинский. А где здесь наши?

редактор, составитель:

А. Переверзин

корректор, технический редактор:

О. Тузова

В оформлении обложки использована картина

Анри Руссо «Футболисты» (1908).

Автор фото на последней странице — Л. Ливинская.

издательство «Воймега»

voymega@yandex.ru

alkonost.mail@gmail.com

Подписано в печать 15.03.2013.

Формат издания 60×90 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 3.

Тираж 400 экз.



Станислав Ливинский родился в 1972 году в Ставрополе. После окончания школы получил профессию фотографа. Служил в армии, работал фотокорреспондентом в газете, видеооператором и звукорежиссёром. Стихи публиковались в «Литературной газете», журналах «Юность», «Знамя», «Дружба народов», «Волга», «День и ночь». Лауреат Международного Волошинского конкурса (2012) в номинации «Рукопись неопубликованной книги».